

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА
МАРКЕС

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА
МАРКЕС

ЛЮБОВЬ
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Перевод Л. Синянской



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.134.2-31(861)
ББК 84(7Кол)-44
Г20

Серия «Классики магического реализма»

Gabriel García Márquez

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA

Перевод с испанского *Л.П. Синянской*

Серийное оформление и компьютерный дизайн *В.Е. Половцева*

Печатается с разрешения наследников автора
и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

Гарсиа Маркес, Габриэль.

Г20 Любовь во время чумы : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. Л. П. Синянской]. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 400 с. — (Классики магического реализма).

ISBN 978-5-17-101401-8

История любви, побеждающей все — время и пространство, жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души. Смуглая красавица Фермина отвергла юношескую любовь друга детства Флорентино Арисы и предпочла стать супругой доктора Хувенала Урбино — ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного бича — чумы. Но Флорентино не теряет надежды. Он ждет — ждет и любит. И неистовая сила его любви лишь крепнет с годами.

Такая любовь достойна восхищения. О ней слагают песни и легенды. Страсть — как смысл жизни. Верность — как суть самого бытия...

УДК 821.134.2-31(861)
ББК 84(7Кол)-44

© Gabriel García Márquez and Heirs of Gabriel García Márquez, 1985

© Перевод. Л.П. Синянская, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

ISBN 978-5-17-101401-8

Посвящается, конечно же, Мерседес

Эти селенья уже обрели
свою коронованную богиню.

Леандро Диас



Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Доктор Урбино почувствовал его сразу, едва вошел в дом, еще тонувший во мраке, куда его срочно вызвали по неотложному делу, которое для него уже много лет назад перестало быть неотложным. Беженец с Антильских островов Херемиа де Сент-Амур, инвалид войны, детский фотограф и самый покладистый партнер доктора по шахматам, покончил с бурей жизненных воспоминаний при помощи паров цианида золота.

Труп, прикрытый одеялом, лежал на походной раскладной кровати, где Херемиа де Сент-Амур всегда спал, а рядом, на табурете, стояла кювета, в которой он выпарил яд. На полу, привязанное к ножке кровати, распростерлось тело огромного дога, черного, с белой грудью; рядом валялись костыли. В открытое окно душной, заставленной комнаты, служившей одновременно спальней и лабораторией, начинал сочиться слабый свет, однако и его было довольно, чтобы признать полномочия смерти. Остальные окна, как и все щели в комнате, были заткнуты тряпками или закрыты черным картоном, отчего присутствие смерти ощущалось еще тягостнее. Столик, заставленный флаконами и пузырьками без этикеток, две кюветы из оловянного сплава под обычным фонарем, прикрытым красной бумагой. Третья кювета, с фиксажем, стояла около трупа. Куда ни глянь — старые газеты и журналы, стопки стеклян-

ных негативов, поломанная мебель, однако чья-то прилежная рука охраняла все это от пыли. И хотя свежий воздух уже вошел в окно, знающий человек еще мог уловить еле различимую тревожную тень несчастной любви — запах горького миндаля. Доктору Хувеналю Урбино не раз случалось подумать, вовсе не желая пророчествовать, что это место не из тех, где умирают в мире с Господом. Правда, со временем он пришел к мысли, что этот беспорядок, возможно, имел свой смысл и подчинился Божьему промыслу.

Полицейский комиссар опередил его, он уже был тут, вместе с молоденьким студентом-медиком, который проходил практику судебного эксперта в муниципальном морге; это они до прихода доктора Урбино успели проветрить комнату и накрыть тело одеялом. Они приветствовали доктора с церемонной торжественностью, на этот раз более означавшей соболезнование, чем почтение, поскольку все прекрасно знали, как дружен он был с Херемией де Сент-Амуром. Знаменитый доктор поздоровался с обоими за руку, как всегда здоровался с каждым из своих учеников перед началом ежедневных занятий по общей клинике, и только потом кончиками указательного и большого пальцев поднял край одеяла, точно стебель цветка, и, будто священнодействуя, осторожно открыл труп. Тот был совсем нагой, напряженный и скрюченный, посиневший, и казался на пятьдесят лет старше. Прозрачные зрачки, сизо-желтые волосы и борода, живот, пересеченный давним швом, зашитым через край. Плечи и руки, натруженные костылями, широкие, как у галерника, а неработавшие ноги — слабые, сырые. Доктор Хувеналь Урбино поглядел на лежащего, и сердце у него сжалось так, как редко сжималось за все долгие годы его бесплодного сражения со смертью.

— Что же ты струсил? — сказал он ему. — Ведь самое страшное давно позади.

Он снова накрыл его одеялом и вернул себе великолепную академическую осанку. В прошлом году целых три дня публично праздновалось его восьмидесятилетие, и, выступая с ответной благодарственной речью, он в очередной раз воспротивился ис-

кушению уйти от дел. Он сказал: «У меня еще будет время отдохнуть — когда умру, однако эта вероятность покуда в мои планы не входит». Хотя правым ухом он слышал все хуже и, желая скрыть нетвердость поступи, опирался на палку с серебряным набалдашником, но, как и в молодые годы, он по-прежнему носил безупречный костюм из льняного полотна с жилетом, который пересекала золотая цепочка от часов. Перламутровая, как у Пастера, борода, волосы такого же цвета, всегда гладко причесанные, с аккуратным пробором посередине, очень точно выражали его характер. Беспokoила слабеющая память, и он, как мог, восполнял ее провалы торопливыми записями на клочках бумаги, которые рассовывал по карманам вперемежку, подобно тому как вперемежку лежали в его битком набитом докторском чемоданчике инструменты, пузырьки с лекарствами и еще множество разных вещей. Он был не только самым старым и самым знаменитым в городе врачом, но и самым большим франтом. При этом он не желал скрывать своего многомудрия и не всегда невинно пользовался властью своего имени, отчего, быть может, любили его меньше, чем он того заслуживал.

Распоряжения, которые он отдал комиссару и практиканту, были коротки и точны. Вскрытия делать не нужно. Запаха, еще стоявшего в доме, было довольно, чтобы определить: смерть причинили газообразные выделения от проходившей в вазе реакции между цианидом и какой-то применявшейся в фотографии кислотой, а Херемиа де Сент-Амур достаточно понимал в этом деле, так что несчастный случай исключался. Уловив невысказанное сомнение комиссара, он ответил характерным для него выпадом: «Не забывайте, свидетельство о смерти подписываю я». Молодой медик был разочарован: ему еще не приходилось наблюдать на трупе действие цианида золота. Доктор Хувеналь Урбино удивился, что не заметил молодого человека у себя на занятиях в Медицинской школе, но по его андскому выговору и по тому, как легко он краснел, сразу же понял: по-видимому, тот совсем недавно в городе. Он сказал: «Вам тут еще не раз попадутся обезумевшие от любви, так что получите такую возможность». И только проговорив это, понял, что из бесчис-

ленных самоубийств цианидом, случившихся на его памяти, это было первым, причиной которого не была несчастная любовь. И голос его прозвучал чуть-чуть не так, как обычно.

— Когда вам попадет такой, — сказал он практиканту, — обратите внимание: обычно у них в сердце песок.

Потом он обратился к комиссару и говорил с ним как с подчиненным. Велел ему в обход всех инстанций похоронить тело сегодня же вечером и притом в величайшей тайне. И сказал: «Я переговорю с алькальдом после». Он знал, что Херемиа де Сент-Амур вел жизнь простую и аскетическую и что своим искусством зарабатывал гораздо больше, чем требовалось ему для жизни, а потому в каком-нибудь ящике письменного стола наверняка лежали деньги, которых с лихвой хватит на похороны.

— Если не найдете, не беда, — сказал он. — Я возьму все расходы на себя.

Он приказал сообщить журналистам, что фотограф умер естественной смертью, хотя и полагал, что это известие ничуть их не заинтересует. Он сказал: «Если надо будет, я переговорю с губернатором». Комиссар, серьезный и скромный служака, знал, что строгость доктора в соблюдении правил и порядков вызывала раздражение даже у его друзей и близких, а потому удивился, с какой легкостью тот обошел все положенные законом формальности ради того, чтобы ускорить погребение. Единственное, на что он не пошел, — не захотел просить архиепископа о захоронении Херемиа де Сент-Амура в освященной земле. Комиссар, огорченный собственной дерзостью, попытался оправдаться.

— Я так понял, что человек этот был святой, — сказал он.

— Случай еще более редкий, — сказал доктор Урбино. — Святой безбожник. Но это — дела Божьи.

Вдалеке, на другом конце города, зазвонили колокола собора, созывая на торжественную службу. Доктор Урбино надел очки — стекла-половинки в золотой оправе — и поглядел на маленькие квадратные часы, висевшие на цепочке; крышка часов открывалась пружиной: он опаздывал на праздничную службу по случаю Святой Троицы.

Огромный фотографический аппарат на подставке с колесиками, как в парке, аляповато разрисованный мрачно-синий занавес, стены, сплошь покрытые фотографиями детей, сделанными в торжественные даты: первое причастие, день рождения. Стены покрывались фотографиями постепенно, год за годом, и у доктора Урбино, обдумывавшего тут по вечерам шахматные ходы, не раз тоскливо екало сердце при мысли о том, что случай собрал в этой портретной галерее семья и зародыш будущего города, ибо именно этим еще не оформившимся детишкам суждено когда-нибудь взять в свои руки бразды правления и до основания перевернуть этот город, не оставив ему и следа былой славы.

На письменном столике, рядом с банкой, где хранились курительные трубки старого морского волка, лежала шахматная доска с незаконченной партией. И доктор Урбино, хоть и спешил, хоть и был в тяжелом расположении духа, не удержался от искушения рассмотреть ее. Он знал, что партия игралась накануне вечером, потому что Херемиа де Сент-Амур играл в шахматы каждый вечер с одним из по меньшей мере трех разных партнеров и всегда доигрывал партию до конца, а потом складывал фигуры и убирал доску в ящик письменного стола. Знал, что он играл белыми, и на этот раз, совершенно очевидно, через четыре хода его ожидал полный разгром. «Будь это убийство, можно было бы взять след, — подумал он. — Я знаю только одного человека, способного выстроить столь мастерскую засаду». Ему будет трудно жить дальше, если он не узнает, почему этот неукротимый солдат, привыкший всегда биться до последней капли крови, не довел до конца заключительную битву своей жизни.

В шесть утра, совершая последний обход, ночной сторож заметил на двери дома записку: «Дверь не заперта, войдите и сообщите в полицию». Комиссар с практикантом пришли тотчас же и, осматривая дом, тщательно искали признаки, которые могли бы опровергнуть этот запах горького миндаля, который невозможно спутать ни с чем. За те несколько минут, что длился анализ недоигранной партии, комиссар нашел в пись-

менном столе, среди бумаг, конверт, адресованный доктору Урбино и запечатанный столькими сургучными печатями, что его пришлось разорвать на клочки, чтобы извлечь письмо. Доктор откинул черный занавес на окне, впуская в комнату свет, и оглядел все одиннадцать страниц, исписанные с обеих сторон старательно-разборчивым почерком, но, прочтя первый же абзац, понял, что праздничная церковная служба для него пропала. Он читал, и дыхание его учащалось, иногда он листал страницы назад, чтобы ухватить потерянную нить, а когда закончил чтение, казалось, будто он возвратился откуда-то из далеких мест и давних времен. Как ни старался он держаться, видно было — письмо сразило его: губы доктора стали такими же синими, как у трупа, и он не мог сдержать дрожи пальцев, когда складывал листки и прятал их в карман жилета. Только тут он вспомнил о комиссаре и молодом медике и улыбнулся им, отодвигая навалившиеся думы.

— Ничего особенного, — сказал он. — Последние распоряжения.

Это была полуправда, но они приняли ее за полную, потому что он велел им поднять одну из плиток кафельного пола и там они обнаружили затрепанную тетрадь расходов и ключи от сейфа. Денег оказалось не так много, как они думали, но более чем достаточно для оплаты похорон и разных мелких счетов. Теперь доктору Урбино стало окончательно ясно, что в церковь он опоздал.

— Третий раз в жизни, с тех пор как помню себя, пропускаю воскресную службу, — сказал он. — Но Бог поймет меня.

И он остался еще на несколько минут, чтобы решить все вопросы, хотя с трудом сдерживал желание поделиться с женой откровениями, содержащимися в письме. Он взялся известить всех живших в городе карибских беженцев, на случай если они захотят воздать последние почести тому, кто считался самым уважаемым из них, самым деятельным и самым радикальным, даже после того, как стало очевидным, что он поддался губительному разочарованию. Он известит и его сотоварищей по шахматам, среди которых были и знаменитости-профессионалы,

и безвестные любители, сообщит и другим, не столь близким друзьям, возможно, они пожелают прийти на похороны. До предсмертного письма он бы мог счесть себя самым близким его другом, но, прочтя письмо, уже ни в чем не был уверен. Как бы то ни было, он пошлет венок из гардений — может быть, Херемиа де Сент-Амур в последний миг испытал раскаяние. Погребение, по-видимому, состоится в пять часов, самое подходящее время для этой жаркой поры. Если он понадобится, то после двенадцати будет находиться в загородном доме доктора Ласидеса Оливельи, своего любимого ученика, который в этот день дает торжественный обед по случаю своего серебряного юбилея на ниве врачебной деятельности.

Доктору Хувеналю Урбино легко было следовать привычному распорядку теперь, когда позади остались бурные годы первых житейских сражений, когда он уже добился уважения и авторитета, равного которому не было ни у кого во всей провинции. Он вставал с первыми петухами и тотчас же начинал принимать свои тайные лекарства: бромистый калий для поднятия духа, салицилаты — чтобы не ныли кости к дождю, капли из спорыньи — от головокружений, белладонну — для крепкого сна. Он принимал что-нибудь каждый час и всегда тайком, потому что на протяжении всей докторской практики он, выдающийся мастер своего дела, неуклонно выступал против паллиативных средств от старости: чужие недуги он переносил легче, чем собственные. В кармане он всегда носил пропитанную камфарой марлевую подушечку и глубоко вдыхал камфару, когда его никто не видел, чтобы снять страх от стольких перемешавшихся в нем лекарств.

В течение часа у себя в кабинете он готовился к занятиям по общей клинике, которые вел в Медицинской школе с восьми утра ежедневно — с понедельника по субботу, до самого последнего дня. Он внимательно следил за всеми новостями в медицине и читал специальную литературу на испанском языке, которую ему присылали из Барселоны, но еще внимательнее прочитывал ту, которая выходила на французском языке и которую ему присылал книготорговец из Парижа. По

утрам книг он не читал, он читал их в течение часа после сиесты и вечером, перед сном. Подготовившись к занятиям, он пятнадцать минут делал в ванной дыхательную гимнастику перед открытым окном, всегда повернувшись в ту сторону, где пели петухи, ибо именно оттуда дул свежий ветер. Потом он мылся, приводил в порядок бороду, на помаживал усы, окутавшись душистыми парами одеколона, и облачался в белый льняной костюм, жилет, мягкую шляпу и сафьяновые туфли. В свой восемьдесят один он сохранил живые манеры, праздничное состояние духа, какие ему были свойственны в юности, когда он вернулся из Парижа, вскоре после смертоносной эпидемии чумы; и волосы он причесывал точно так же, как в ту пору, с ровным пробором посередине, разве что теперь они отливали металлом. Завтракал он в кругу семьи, но завтрак у него был особый: отвар из цветов полыни для пищеварения и головка чесноку — он очищал дольки и, тщательно пережевывая, ел одну за другой с хлебом, чтобы предотвратить перебои в сердце. В редких случаях после занятий у него не бывало какого-нибудь дела, связанного с его гражданской деятельностью, участием в церковных заботах, его художественными или общественными затеями.

Обедал он почти всегда дома, затем следовала десятиминутная сиеста: сидя на террасе, выходящей во двор, он сквозь сон слушал пение служанок в тени манговых деревьев, крики торговцев на улице, шипение масла на сковородах и треск моторов в бухте, шумы и запахи которой бились и трепетали в доме жаркими послеполуденными часами, точно ангел, обреченный гнить взаперти. Потом он целый час читал свежие книги, по преимуществу романы и исторические исследования, обучал французскому языку и пению домашнего попугая, уже много лет служившего местной забавой. В четыре часа, выпив графин лимонада со льдом, начинал обход больных. Несмотря на возраст, он не сдавался и принимал больных не у себя в кабинете, а ходил по домам, как делал это всю жизнь, поскольку город оставался таким уютно-домашним, что можно было пешком добраться до любого закоулка.

После первого своего возвращения из Европы он стал ездить в фамильном ландо, запряженном парой золотистых рысаков, а когда экипаж пришел в негодность, сменил его на открытую коляску, а пару рысаков — на одного, и продолжал ездить так, пренебрегая всякой модой, даже когда конные выезды стали выходить из употребления и остались только те, что прогуливали по городу туристов и возили венки на похоронах. Он никак не желал отойти от дел, хотя ясно понимал, что вызывали его исключительно в безнадежных случаях, однако полагал, что у врача может быть и такая специализация. Он умел определить, что с больным, по одному его виду и с годами все меньше верил в патентованные средства, с тревогой следя за тем, как безбожно злоупотребляют хирургией: «Скальпель — главное свидетельство полного провала медицины». Он полагал, что всякое лекарство, строго говоря, является ядом и что семьдесят процентов обычных продуктов питания приближают смерть. «Как бы то ни было, — говорил он обычно на занятиях, — то небольшое, что известно в медицине, известно лишь немногим медикам». От былой юношеской восторженности он со временем пришел к убеждениям, которые сам определял как фаталистический гуманизм. «Каждый человек — хозяин собственной смерти, и в наших силах лишь одно — в урочный час помочь человеку умереть без страха и без боли». Однако, несмотря на подобные крайние взгляды, которые уже вошли в местный врачебный фольклор, прежние его ученики продолжали советоваться с ним, даже став признанными специалистами, единодушно утверждая, что у него острый глаз клинициста. Во всяком случае, он всегда был врачом дорогим, для избранных, и его клиентура жила в старинных родовых домах в квартале вице-королей.

День у него был расписан по минутам, так что его жена во время врачебного обхода больных всегда знала, куда в экстренном случае послать к нему человека с поручением. В молодости он, случалось, после обхода больных задерживался в приходском кафе, где совершенствовал свое шахматное мастерство с приятелями тестя и карибскими беженцами, но с начала этого